

Кристина Соль

Долг ТРАВНИЦЫ



18+

Кристина Соль

Долг травницы

«Автор»

2026

Соль К.

Долг травницы / К. Соль — «Автор», 2026

Аста Верейн восемь лет собирала своё дело: состав, лавку, имя. Компаньон, которому она подписывала бумаги не читая, оформил патент на себя и выкупил её долги. Цеховой суд оставил ей ремесленное право, восемьсот марок долга и предписание отрабатывать их в Ольховом Броде — глухом городке на верхней реке, где травничья лавка стоит запечатанной третий год. Ни сырья, ни денег, ни знакомых. Городок помнит предыдущего травника, который набрал в долг у половины дворов и уплыл, и потому Асте не продают даже жира. Старший цеха Дан Хольт эту лавку когда-то опечатывал сам и не собирается ничего облегчать: он проверяет её книгу записей каждую среду и штрафует по уложению. Впереди четыре срока по двести марок и год с лишним работы. А ещё — старуха-собираательница, которая знает лесные места и торгуется зверски, кузнец, которому не помог ни один лекарь, и одна ошибка, которую Аста совершит сама, второпях, зная, что делает. Роман о ремесле, долге и о том, сколько стоит вернуть себе собственное имя.

© Соль К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Приговор	5
Глава 2. Ключ	10
Глава 3. Первый заказ	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Кристина Соль

Долг травницы

Глава 1. Приговор

Цеховая палата в столице пахла чернилами, воском и мокрой шерстью. Шерстью — потому что дождь шёл третьи сутки, а плащи вешать было негде, их складывали у входа горой, и гора преела.

Я сидела на скамье для ответчиков и считала запахи, потому что считать больше было нечего. Все цифры уже сосчитали за меня.

— Дело травницы Асты Верейн, — сказал писарь. — О праве на состав и о долговых обязательствах.

Он читал ровно, без выражения, и от этого выходило хуже, чем если бы кричали. Состав номер такой-то по цеховому реестру, поданный на закрепление в позапрошлом году. Заявитель — Гельм Ордо, торговый мастер. Свидетельства о разработке — предъявлены. Записи об испытаниях — предъявлены. Расписки о вложении средств — предъявлены.

Все бумаги были настоящие. В этом и заключалась вся штука.

Я делала состав восемь лет. Начинала с того, что жгла себе пальцы вытяжкой, потому что не знала, какая крепость держится, а какая идёт вразнос. Я перевела на пробы столько сырья, что им можно было бы засыпать эту палату по окна. Я вела записи в толстой книге с кожаным корешком, и записи эти лежали сейчас в трёх шагах от меня, на столе цехового старшины, подшитые к делу Гельма.

Потому что подписаны они были не мной.

Он приносил мне бумаги вечером, когда я сидела над горелкой и не могла оторваться. Клал на угол стола. Говорил: подпиши, это на поставку, это на аренду, это на пошлину. Я подписывала, не поднимая головы, потому что руки были заняты, а он читал за меня. Он всегда читал за меня, у него это выходило быстрее.

Восемь лет.

— Свидетельств от ответчицы о самостоятельной разработке состава не представлено, — сказал писарь.

Я подняла руку. Старшина посмотрел на меня.

— Мои записи, — сказала я. — Вот эта книга. Я вела её сама, там мой почерк.

— Книга приобщена как имущество товарищества, — ответил старшина. — Товарищество зарегистрировано на мастера Ордо. Почерк не устанавливает право, госпожа Верейн. Право устанавливает подпись.

Руки у меня были при мне, и в палате это не значило ничего. Рукам верят у постели, а не в реестре.

Гельм сидел на другой стороне палаты и смотрел на меня с сочувствием.

Это было самое трудное во всём деле. Он не злорадствовал. Он не отводил глаза. Он сидел, чуть подавшись вперёд, с лицом человека, которому по-настоящему жаль, и один раз даже покачал головой, когда писарь назвал сумму. Я знала это лицо шесть лет. С этим лицом он приносил мне горячее вино, когда я засиживалась до утра, и говорил, что я себя загоню.

— Долговые обязательства, — продолжил писарь. — Заёмные письма на восемьсот марок, выкупленные мастером Ордо у поручителей госпожи Верейн. Обеспечение — доля госпожи Верейн в товариществе. Доля признана не подлежащей выделу.

Восемьсот марок. Я знала, из чего они собрались. Поставки сырья, которые я заказывала под своё слово. Печь, которую мы ставили в прошлом году, и печь была нужна, я сама на ней

настаивала. Пошлина на закрепление состава — я и её оплатила, своими деньгами, и как теперь выяснилось, оплатила Гельму его патент.

Каждая монета из этих восьмисот ушла в дело. В том и беда: если бы я их прогуляла, было бы легче объяснять.

— Ответчица признаёт долг?

Я могла бы сказать, что не признаю. Могла бы потребовать разбора, вызвать поставщиков, тянуть месяцы. У меня не было денег на месяцы. У меня не было денег на неделю: угол, в котором я ночевала, был оплачен до завтрашнего полудня.

— Признаю, — сказала я.

Старшина кивнул с явным облегчением. Признание сокращало ему день.

Дальше пошло быстро. Долг восемьсот марок, взыскание по цеховому уложению. Ремесленное право за госпожой Верейн сохраняется — это они произнесли тем тоном, каким оказывают милость, и, надо признать, оказывали. Могли отобрать. Торговое место в столице отходит в счёт долга. Отработка назначается по месту, где цех имеет надобность в травнике.

— Ольховый Брод, — прочитал писарь. — Верхнее течение, лесной округ. Лавка травника стоит без хозяина третий год. Платёж вносится к четырём срокам, по двести марок. Сроки — пятнадцатое сентября, пятнадцатое декабря, пятнадцатое июня и пятнадцатое сентября следующего года; мартовского срока в верхнем течении не берут, река стоит и торгова нет. Пропуск срока — утрата ремесленного права без восстановления.

Я слушала и переводила на понятное.

Двести марок за квартал в столице — это неплохой доход хорошей лавки на людном месте. В городке на верхней реке, где всё население помещается на одной ярмарочной площади, это было не доходом, а издевательством. Такие суммы там не ходят. Там ходят медяки, и ходят они медленно.

Меня отправляли не отработывать. Меня отправляли не справиться.

— Пятнадцать месяцев, — сказала я вслух. — Четыре срока.

— Пятнадцать, — подтвердил старшина. — Внесёте — свободны, право при вас, можете открываться где угодно. Не внесёте — займётесь другим ремеслом.

Он собрал бумаги и посмотрел уже мимо меня, в следующее дело.

Я вышла в коридор, и там меня ждал Гельм.

Он стоял у окна, держа мой плащ. Он снял его с той преющей горы и держал на руке, аккуратно, изнанкой внутрь, чтобы не мокла подкладка. Это было очень в его духе. Он всегда замечал мелочи, которые я не замечала, и всегда делал с ними что-то приятное.

— Аста.

— Не надо, — сказала я.

— Возьми хотя бы плащ. На улице льёт.

Я взяла плащ. Он был мой, и мне было в чём ехать, и стоять в мокром я не собиралась ради красивого жеста.

— Я скажу один раз, и больше не буду, — сказал он. — Всё это можно закрыть за вечер. Ты возвращаешься, мы садимся, переписываем условия по-честному, я оформляю тебе долю заново, с бумагами, которые ты прочитаешь сама, от первой строки до последней. Хоть с законником. Долг я гашу. Никакого Ольхового Брода.

— И состав?

— Состав остаётся за товариществом, — сказал он мягко. — Аста, он и так за товариществом. Ты будешь его делать. Ты одна умеешь его делать. Разве не в этом суть?

Вот тут он был искренен. Я это слышала. Он не понимал, что отнял, потому что в его голове ничего не пропало: состав есть, я есть, лавка есть, деньги будут. Он не видел разницы между «делать своё» и «делать чужое своими руками», для него это было одно и то же слово — работа.

Я стояла в коридоре цеховой палаты и держала свой плащ, и очень хорошо понимала, что если сейчас скажу «хорошо», к вечеру у меня будет тёплая комната, ужин и печь. И через год всё то же самое. И через десять.

— Нет, — сказала я.

Он вздохнул. Не рассердился, вздохнул — с тем же сочувствием.

— Ты упрямая. Всегда была.

— Я умею считать сырьё, — сказала я. — Восемь лет считала. Оказалось, считать надо было бумаги.

Я надела плащ и вышла под дождь.

Из столицы на верхнюю реку идут баржи, но летом, по низкой воде, они идут медленно и берут дорого. Я поехала обозом, который вёз соль и железо, и три дня просидела на мешках, глядя, как поля переходят в мелколесье, а мелколесье в лес.

Всё моё поместилось в один сундук и одну корзину. В сундуке — одежда, ступка, весы, три десятка склянок, обёрнутых в тряпье, и медный перегонный колпак, который я не отдала, потому что он был записан как мой личный инструмент, и я стояла над писарем, пока он это вписывал. В корзине — остатки сырья. Не то, что нужно. То, что осталось.

И вывеска.

Вывеску я сняла со своей лавки сама, ночью, накануне отъезда. Доска в локоть длиной, тёмное дерево, по краю резной ольховый лист — резал знакомый столяр в подарок, на первый год работы. Буквы я подновляла каждую весну.

Формально она была имуществом товарищества. Формально мне следовало оставить её на месте.

Я сняла её и положила в сундук, и никто за мной в дороге не гнался.

На четвёртый день обоз свернул к реке, и открылся Ольховый Брод.

Городок лежал на низком берегу, там, где река разливается на широком мелководье и её можно перейти вброд по летней воде. Отсюда и название. Домов сотни две, все серые от дождей, крыши тёсанные, у воды — длинные навесы для сплава и штабеля брёвен в человеческий рост. Пахло мокрым деревом и смолой. Этот запах здесь стоял везде, я потом узнала, что он не выветривается никогда, ни зимой, ни в жару.

Площадь оказалась одна, как я и думала. Цеховой дом на ней был единственным каменным строением, приземистым, с новым крыльцом.

— Приехали, — сказал возчик. — Тебе куда, хозяйка?

— К травничьей лавке.

Он посмотрел на меня по-новому, с интересом.

— К той? — переспросил он. — Так она заперта.

— Знаю.

Лавка стояла не на площади, а в переулке за ней, вторым домом от угла. Я нашла её сразу — по вывеске. Вывеска висела своя, старая, с облупленной травой на щите, и одна цепочка была оборвана, отчего доска висела косо.

Дверь была заперта, а поперёк неё, от косяка к косяку, шла узкая полоса просмоленного холста, прибитая с двух концов и залитая на середине цеховым сургучом. Печать сидела ровно и крепко, и по её виду сразу становилось понятно, что её здесь давно не трогали.

Я поставила сундук на землю и обошла дом кругом.

Ставни глухие, изнутри забраны на клин. Одно стекло в верхнем окошке треснуло, но не выпало. Крыша целая. Крыльцо просело с левого края, доска нижней ступени пружинила под ногой. С задней стороны — крохотный двор в три шага, поросший прошлогодним бурьяном по пояс, и в углу двора сарайчик с провалившимся скатом. Через дыру в скате было видно ржавое ведро.

Три года.

Я стояла и считала. Не деньги. Работу. Печь наверняка не топлена три зимы, и её сначала надо просушивать в четыре захода, иначе треснет. Полки будут в мышином помёте. Всё, что оставалось в лавке из сырья, испорчено, весь товар придётся выносить и жечь. Вода — где-то колодец, надо найти. Дрова — покупать, и покупать сейчас, потому что к осени они дорожают.

И на всё это у меня было четырнадцать марок.

Я села на сундук, сняла шапку и подставила голову ветру с реки. Он был холодный и пах смолой.

Из соседнего дома вышла женщина, посмотрела на меня, ушла обратно и, кажется, кому-то что-то сказала. Через недолгое время в конце переулочка появился мальчишка, дошёл до середины, изучил меня внимательно и убежал.

Я досидела до того, что замёрзли ноги, и пошла на площадь.

В цеховом доме пахло совсем не так, как в столичной палате. Здесь пахло печкой, воском и рыбой — где-то в задних комнатах у них варилась уха, и запах перебивал всё остальное. В первой комнате за конторкой сидел старик и вписывал что-то в книгу, шевеля губами.

— Мне нужен старший цеха, — сказала я.

Старик поднял голову.

— Мастер Хольт в лесу до вечера. Сплав ставят.

— Я подожду.

— Ждите, — сказал он и вернулся к книге. Потом всё-таки посмотрел ещё раз. — Вы травница?

— Аста Верейн.

— А-а, — протянул он и почему-то тоже вписал что-то в книгу.

Я прождала до сумерек. Сидела на лавке у стены, и за это время в цеховой дом заходили пять или шесть человек, и каждый на меня смотрел, и никто не спросил, кто я. Значит, уже знали. Городок узнал про меня быстрее, чем я про городок.

Дан Хольт вошёл, когда за окном стало сине.

Он был крупный, тяжёлый, в мокрой до колен одежде, и вода стекала с него на пол. Волосы на висках седые, а лицо не старое, из тех лиц, которые рано тяжелеют. Он снял рукавицы, бросил их на конторку и только тогда посмотрел на меня.

Смотрел он долго.

— Верейн, — сказал он. Не вопросом.

Я встала.

— Аста Верейн. У меня предписание цеховой палаты, отработка по месту. Мне нужен ключ от лавки.

Он вытер лицо ладонью.

— Бумагу.

Я подала. Он взял её сухими пальцами, отошёл к лампе и прочитал целиком, сверху донизу, не пропуская, чего в столице не делал никто. Читал он медленно и один раз вернулся глазами к началу.

— Восемьсот, — сказал он. — По двести к сроку.

— Да.

— Здесь?

— Так написано.

Он положил бумагу на конторку и посмотрел на меня опять, тем же долгим взглядом, и в нём не было ни любопытства, ни сочувствия. Было что-то другое, чему я тогда не нашла названия. Позже нашла. Он смотрел, как смотрят на телегу, которую придётся разгружать самому, потому что больше никому.

— Ключ у меня, — сказал он. — Печать снимать по описи, опись составляется при старшем цеха, старший цеха занят до конца сплава.

— Сколько идёт сплав?

— Сколько надо, столько и идёт.

Он сказал это ровно, и я не поняла, много это или мало, и он объяснять не собирался.

— Мастер Холът, — сказала я. — У меня четыре срока в году. Первый через одиннадцать недель. Каждый день, который я не работаю, я не зарабатываю.

— Знаю, как считать.

— Тогда вы понимаете, что...

— Госпожа Верейн. — Он взял с конторки рукавицы и стал их выжимать, одну за другой, глядя на свои руки. — Эту лавку опечатывал я. Своей рукой. Три года назад, тоже по бумаге из столицы, где всё было очень складно написано. До вас тут сидел человек, который приехал с такой же бумагой, полгода торговал не пойми чем, набрал у половины городка в долг и уехал по большой воде. Мне потом эти долги разбирать.

Он положил рукавицы. Вода с них капала на пол.

— Мне не нужно, чтобы вы старались, — сказал он. — Мне нужно, чтобы вы не навредили. Это разные вещи, и первая меня не касается.

Я стояла и молчала. Он ждал, что я начну доказывать. Я это видела: он приготовился слушать про то, что я не такая, что со мной поступили несправедливо, что мне очень нужно. Он приготовился и заранее не поверил.

— Опиши когда? — спросила я.

Он поднял брови.

— Что?

— Опишь, — повторила я. — Когда вы сможете. Мне нужен день, чтобы знать, с чего начинать.

Он помолчал. Взял бумагу, свернул и подал мне обратно.

— Послезавтра утром. — И, когда я уже дошла до двери, добавил: — Ночевать где будете?

— Не знаю ещё.

— У Марты. Постоялый двор через площадь, угловой. Скажете, что от цеха, — она за угол берёт втрое, если не сказать.

Я вышла на крыльцо. Дождя не было, небо расчистилось, и над лесом за рекой стояла холодная зелёная полоса. Пахло смолой и водой.

Я дошла до переулочка, в темноте нашла свой сундук — он так и стоял у крыльца, и никто его не тронул, — и постояла ещё немного перед запечатанной дверью.

Отработаю и уеду, подумала я.

Тогда я в это верила.

Глава 2. Ключ

Постоялый двор Марты стоял на углу площади — единственное в Ольховом Броде заведение, где после темноты горел свет.

Марта оказалась широкой женщиной лет пятидесяти, с руками прачки и голосом, которым удобно перекрикивать реку. Она выслушала про цех, посмотрела на мой сундук, посмотрела на меня и назвала цену за угол — три медяка в день с похлёбкой.

— Мастер Хольт сказал, что вы берёте вдвое, если не сказать от цеха.

— Мастер Хольт много чего говорит, — ответила Марта без всякого смущения. — Три медяка. Печку топлю до полуночи, после не проси. Комната наверху, стена холодная, спи от неё подальше.

Комната оказалась не комнатой, а отгородкой под скатом крыши, где можно было выпрямиться в одном месте, у самой двери. Я поставила сундук, села на койку и первый раз за четыре дня оказалась в тепле.

Внизу гудели голоса. Сплавщики ужинали.

Я спустилась, потому что похлёбка входила в три медяка, а я собиралась выбирать из этих трёх медяков всё до последней капли. За длинным столом сидело человек десять, и когда я села с краю, разговор не прекратился, только стал вполтину тише.

Марта поставила передо мной миску.

— Значит, травница, — сказала она громко, на весь зал. — В ту лавку?

— В ту.

— И надолго?

— На год с лишним.

Кто-то в конце стола хмыкнул. Марта уперла кулаки в бока.

— С лишним, — повторила она с удовольствием. — Слыхали? Она на год с лишним. А до того у нас был мастер Ленн, тот тоже собирался на год.

— Мастер Ленн собирался на два, — сказал сплавщик у окна.

— Мастер Ленн собирался на сколько спросишь, — отрезала Марта.

Я ела похлёбку и молчала. Похлёбка была хорошая, с крупой и салом, и куда лучше того, что я ела в дороге. Про мастера Ленна я узнала за этот вечер больше, чем хотела: что он торговал настойкой от ломоты, от которой у кузнеца Йорда неделю шла кровь носом, что он брал у половины городка вперёд, что уехал по большой воде, не расплатившись с Мартой за два месяца, и что Марта до сих пор помнит сумму до медяка.

Никто не спросил, кто я и откуда. Спрашивать не надо было — они уже решили, кто я. Я была мастер Ленн, приехавший второй раз.

Наверху я легла и долго слушала, как внизу двигают лавки. Стена и вправду была холодная.

Следующий день я потратила на городок.

Обошла его весь, от сплавных навесов до кладбища на бугре, и заняло это меньше двух часов. Нашла колодец — общий, на площади, второй за кузней. Нашла, где продают дрова: у мужика по прозвищу Кряж, который на мой вопрос о цене посмотрел куда-то мимо и сказал, что дрова нынче дорогие. Я спросила насколько дорогие. Он сказал, что смотря кому.

Это было первое, чему меня научил Ольховый Брод: здесь цена зависит не от товара, а от того, свой ты или нет.

Я вернулась к лавке и обошла её ещё раз, теперь при свете. Днём она выглядела хуже. Стену со стороны переулочка вело: нижние венцы просели, и между брёвнами в двух местах вылезла пакля. Крыша держалась, это главное. Труба стояла прямо, и на ней был колпак — значит, дождём печь заливало не всё это время.

Я села на нижнюю ступеньку крыльца и стала считать заново.

Четырнадцать марок. Дрова — марка, если по-божески, и две, если Кряж решит, что я чужая. Стекло в верхнее окно, гвозди, дёготь на нижние венцы. Сырьё. Сырьё стоило больше всего остального вместе, и без него лавка была не лавкой, а сараем с полками.

Одиннадцать недель до первого срока. Двести марок.

Я сидела и раскладывала эти двести на медяки, а медяки на дни, и всякий раз выходило одно и то же: чтобы взять двести, мне надо продавать каждый день, а чтобы продавать каждый день, надо иметь что продавать, а чтобы иметь что продавать, нужны деньги, которых у меня четырнадцать.

Мимо прошла женщина с ведром, посмотрела на меня и ускорила шаг.

Утром Дан Хольт пришёл к лавке раньше меня.

Он стоял у крыльца с кожаной сумкой через плечо, и на этот раз одежда на нём была сухая. Со мной он не поздоровался, только кивнул и достал из сумки книгу описи, чернильницу с крышкой на винте и связку ключей.

— Печать смотрите, — сказал он.

— Что смотреть?

— Целость. Потом не говорите, что вскрыта была до вас.

Я подошла и посмотрела. Сургуч сидел ровно, холст не надорван, гвозди на месте.

— Целая.

Он сорвал холст одним движением, и сургуч раскрошился в пыль.

Замок открылся не сразу — он провернул ключ в обе стороны несколько раз, потом ударил в дверь плечом, и она подалась внутрь с длинным сухим треском.

Из лавки пахнуло.

Пахло пылью, мышами, старым деревом и очень слабо — чем-то травяным, дальним, что держится в стенах, когда в доме много лет что-то сушили. Этот последний запах был единственным хорошим за неделю.

Дан вошёл первым, открыл ставню изнутри, и в лавке стало серо и видно.

Комната была шагов в семь на пять. Прилавок вдоль левой стены, тяжёлый, из плахи, с одной подломленной ножкой, подпёртой поленом. Полки от пола до потолка по трём стенам, и на полках стояло всё, что оставил мастер Ленн: склянки, коробка, связки, мешочки. Всё это было в мышином помёте, а половина мешочков прогрызена, и то, что в них было, лежало горками по полкам и по полу.

За прилавком дверь в заднюю комнату. Там печь, стол, лежанка, и там же — вторая дверь во двор.

Печь была большая, с плитой и с сушильным ярусом наверху. Хорошая печь, и поставлена правильно: ярус выведен на полуночную сторону. Травы сохнут на ночном воздухе иначе, чем на дневном, — днём из них уходит вода, а ночью остаётся то, ради чего их берут, и всякий, кто ставил травничью печь, знает, куда её разворачивать. Я подошла и заглянула в топку. Внутри было полно золы и остатков чего-то, что жгли последним.

— Опись, — сказал Дан за спиной.

Он поставил чернильницу на прилавок, открыл книгу и начал.

Опись заняла три часа. Он перечислял вслух и записывал, я подтверждала, и это был самый подробный разговор, который у нас с ним состоялся за первую неделю. Прилавок один, повреждённый. Полки — по стенам, доски частью гнилые, отмечено. Печь с плитой, состояние на глаз исправное, отмечено, что проверить нельзя. Стекло верхнее с трещиной. Ступень нижняя. Сарай во дворе — крыша обрушена, отмечено.

Товар, оставшийся от прежнего съёмщика, — к списанию.

Он произнёс это и посмотрел на меня.

— Выносить и жечь. Всё. При мне.

— Я хотела посмотреть, что там.

— Не будете.

— Мастер Хольт, часть этого может быть цела. Сухой корень в глухом коробе лежит десять лет и не портится, если...

— Госпожа Верейн. — Он положил перо. — Я не знаю, что мастер Ленн держал на этих полках. Вы не знаете. Никто не знает. И если завтра кто-нибудь в этом городке купит у вас склянку, а в склянке окажется наследство мастера Ленна, разбирать буду я. Выносим и жжём.

Он был прав. Я это понимала с той секунды, как открыла первый короб, и злилась только потому, что там действительно нашлось бы годное сырьё на несколько марок, а марок у меня было четырнадцать.

Мы выносили до полудня. Я таскала короба во двор, он рубил в бурьяне место под костёр. Горело плохо, всё отсырело за три года, дым шёл белый и стелился по двору, и я стояла в этом дыму и смотрела, как жгут то, что мне было нужно.

Соседи выходили смотреть. Двое или трое. Стояли у забора, наблюдали за костром и переговаривались, и я знала, о чём.

Когда прогорело, Дан вернулся в лавку, дописал последнюю строку и развернул книгу ко мне.

— Читайте.

Я взяла книгу.

— Всю, — сказал он. — Сверху донизу. И не подписывайте, пока не прочтёте.

Я подняла на него глаза.

Он смотрел ровно, без выражения, и я не поняла, знает он мою историю целиком или просто говорит это всем. Спрашивать не стала.

Я прочла опись от первой строки до последней. Дважды. Нашла одну неточность — он записал полки как повреждённые целиком, а две были совсем новые, из свежей доски, их явно ставил Ленн.

— Здесь две доски хорошие, — сказала я. — Если запишете все как гнилые, при съезде с меня спросят за новые.

Он посмотрел на полки, потом на меня и переписал строку.

— Верно, — сказал он.

Это было единственное слово одобрения, которое я получила за первый месяц.

Потом он положил на прилавок ключ.

— Правила. Слушайте один раз. Торговать можно с восхода до темноты, ночью только по надобности. Что продаёте, записываете в книгу: день, товар, кому, за сколько. Книгу проверяю раз в неделю по средам. Цены не выше цеховых, они на доске в цеховом доме. Сырьё берёте у тех, кто в цехе состоит, и записываете, у кого. За себя вперёд не берёте — ни медяка, ни у кого, ни под какое слово.

— Совсем?

— Совсем. Это отдельным пунктом в вашем предписании, посмотрите. — Он застегнул сумку. — Взяли вперёд — я закрываю лавку в тот же день.

— Из-за мастера Ленна.

— Из-за мастера Ленна, — согласился он. — Вам не повезло с предшественником, госпожа Верейн. Мне тоже.

Он дошёл до двери и остановился.

— Печь три зимы не топлена. Будете сушить — топите малым огнём и не гоните. Четыре дня, не меньше.

И ушёл, не дожидаясь ответа.

Я осталась одна в пустой лавке со связкой ключей в руке.

Первое, что я сделала, — вымыла пол.

Не потому, что это было самое нужное. Нужнее было съездить за сырьём, найти дрова дешевле, залатать сарай. Но у меня не было ни денег на сырьё, ни договорённости о дровах, ни досок на сарай, а вода в колодце была бесплатная, и ведро нашлось в сарае, ржавое, но с целым дном.

Я мыла с полудня до темноты. Вынесла из задней комнаты золу, отскребла плитку, сняла с полка всё, что осталось, вымыла доски по одной. Помёт, паутина, мышинные гнёзда в углу под прилавком — там я нашла свитое из тряпок и бумаги, и бумага оказалась обрывками старой книги записей мастера Ленна, и почерк у него был круглый, ученический.

К темноте пол был мокрый и чистый, и лавка пахла водой и деревом.

Я разложила свои вещи. Ступку и весы — на прилавок. Слянки — на нижнюю полку, все тридцать, в ряд. Перегонный колпак — на стол в задней комнате. Остатки сырья из корзины — на верхнюю полку, и они заняли на ней угол в две ладони.

Потом достала из сундука вывеску.

Доска была тяжёлая, тёмная, и резной ольховый лист по краю в темноте не читался, только прощупывался. Я подержала её на весу и поставила к стене за прилавком, лицом внутрь.

Вешать было рано. Вешать было нечего.

Затопила печь малым огнём, как он сказал. Печь потянула не сразу, сначала дым пошёл в комнату, и я стояла с открытой дверью и слезящимися глазами и думала, что это очень подходящий конец дня.

Потом тяга взялась, и в трубе загудело.

Я сидела на лежанке в задней комнате, у открытой дверцы, и грела руки. За стеной было тихо. Городок ложился рано.

В дверь лавки постучали.

Не в переднюю, а сзади, во дворовую, и стучали негромко, костяшками, три раза и потом ещё два. Так стучат, когда не хотят, чтобы услышали соседи.

Я взяла лампу и открыла.

На крыльце стояла женщина в накинутом на голову платке. Молодая, лет двадцати с небольшим. Она оглянулась на переулок, прежде чем заговорить, и голос у неё был очень тихий.

— Вы травница?

— Я.

— Мне сказали, вы приехали. — Она сглотнула. — Мне нужно. Сегодня. Я заплачу.

— Заходите.

Она не двинулась.

— Мне только надо, чтобы никто не знал, — сказала она. — В цеховую книгу не пишите.

Глава 3. Первый заказ

Я пустила её и закрыла дверь.

Она вошла в заднюю комнату, встала у печи и не села, хотя я показала на лежанку. Платок сняла не сразу. Под платком оказалось круглое молодое лицо и коса, уложенная короной, — так здесь укладывали замужние.

— Меня зовут Лея, — сказала она. — Лея Кряж.

Кряж. Тот самый, у которого дрова дорогие, смотря кому.

— Свёкор?

— Муж. — Она посмотрела на дверь. — Он не знает, что я тут.

Я поставила лампу на стол, чтобы свет шёл снизу и она не стояла лицом к огню. Так людям легче говорить.

— Что у вас?

Она молчала долго, и я не торопила. За три года в столичной лавке я выучила, что первые слова у человека всегда не те, ради которых он пришёл, и если дать ему помолчать, он иногда доберётся до настоящих сам.

— Третий год, — сказала она наконец. — Мы третий год женаты.

И всё. Больше ничего не сказала, потому что для неё этого было достаточно, и она была права — для неё этого было достаточно.

— Детей нет, — сказала я.

Она кивнула.

— Свекровь говорит, что во мне порча. — Голос у неё стал ровный и быстрый, как у человека, который повторяет заученное. — Она водила меня к одной, за реку. Та жгла что-то и говорила, что снимет. Второй раз брала уже полторы марки. Ничего не сняло.

— А муж?

Лея опустила глаза.

— Муж молчит. Он не злой. Он просто молчит, и от этого хуже.

Я села на край лежанки и стала думать.

Думать было о чём, и совсем не о травах. У меня на верхней полке лежало сырьё на две ладони. Ни одного из тех корней, которыми в столице я вела такие случаи, у меня не было и в ближайшие недели не предвиделось. И даже будь они — я не умела делать то, чего от меня ждали. От меня ждали чуда, а дар не чудо: он показывает, куда идти, и не идёт за тебя.

И была цеховая книга, которая лежала на прилавке за стеной, чистая, с одной записью на первой странице: день, когда я приняла лавку.

— Лея, — сказала я. — Я скажу вам сейчас две вещи, и обе вам не понравятся.

Она подобралась.

— Первая. Никакой порчи в вас нет. Я не знаю, что жгла та женщина за рекой, но полторы марки она взяла ни за что.

— Вы даже не смотрели.

— Дайте руку.

В ученицы меня взяли не за прилежание. Меня взяли за руки.

Это не редкость и не чудо — в любом городе на сотню найдётся один, у кого руки говорят. Возьмёшь человека за запястье и знаешь, чего в нём недостаёт: не название, не хворь, а направление, как знаешь стороной ладони, где в стене тепло, а где дует. Дальше дар молчит. Что положить, сколько держать на огне и в котором часу срезать — этому учатся руками и годами, и дар тут не помощник, он только показывает, куда идти. Наставница говорила, что дар — это половина ученика и ни одной десятой мастера.

Лея подала руку не сразу и не ту. Я взяла левую, повыше запястья, и держала, пока не сошёл счёт до двадцати.

У Леи под пальцами было пусто.

Это трудно объяснить тому, у кого руки не говорят. Когда в человеке сидит настоящая беда, её слышно как сквозняк: тянет в одну сторону, и чем ближе, тем холоднее. У Леи не тянуло никуда. Ровное тёплое тело двадцати с небольшим лет, и одно только место, где сквозило по-настоящему, — не там, где она думала. Выше. За грудиной, где у людей сидит бессонница и страх.

— Я смотрела с той минуты, как вы вошли, — сказала я и отпустила её руку. — И теперь послушала. В вас пусто, Лея. Внутри вас нет ничего, что надо снимать.

Она смотрела на меня и не верила.

— Вторая вещь хуже, — сказала я. — Детей не бывает не только по женской причине. Бывает и по мужской. Об этом не говорят, но это так же часто, как обратное.

Вот тут она отшатнулась. По-настоящему, на полшага назад, к печке.

— Он здоровый, — сказала она. — Он лес валит.

— Я знаю, что он здоровый. Это разные вещи.

— Вы не смеете такое.

— Не смею, — согласилась я. — И всё же сказала.

Она стояла у печи, красная, и я видела, как в ней это ворочается: три года ей объясняли, что она порченная, и три года она в это вкладывалась — травами, поездками за реку, полутора марками, молчанием мужа. А тут приезжая говорит, что, может быть, всё это время дело было не в ней.

Такое не принимают за один вечер. Иногда не принимают никогда.

— Что мне делать, — сказала она наконец. Не вопросом.

— Дадите мне три недели.

Я встала и подошла к полке. Взяла то немного, что там было: сушёный сбор, который я собирала сама ещё позапрошлым летом и везла из столицы в корзине.

— Это не от бесплодия, — сказала я. — Такого сбора не существует, и кто скажет иначе, тому не верьте. Это на сон и на желудок. Вы плохо спите?

Она моргнула.

— Третий год.

— Вот с этого и начнём. Пить с вечера, тёплым, полчашки. Не чаще. И приходите через десять дней, я посмотрю.

— И всё?

— И всё.

Она смотрела на пучок травы у меня в руке, и на лице у неё было разочарование, огромное, детское. Она пришла ночью, тайком, к чужой женщине, за чудом, а получила траву от бессонницы.

— Лея. — Я подождала, пока она поднимет глаза. — Женщина, которая три года не спит и которой каждый день говорят, что она порченная, может не понести по одной этой причине. Тело не глупое. Оно не будет заводить ребёнка там, где всё горит.

Она взяла сбор.

Потом полезла за пазуху и вытащила узелок.

— Сколько?

— Два медяка.

— Та за рекой брала полторы марки.

— Она брала за порчу. Я беру за траву.

Лея развязала узелок и отсчитала два медяка. Медяки были тёплые. Она положила их на стол и уже у двери остановилась.

— В книгу не пишите, — сказала она. — Я знаю, что вам велено. Но если напишут, что жена Кряжа ходила к травнице, к обеду будет знать площадь, а к вечеру свекровь.

Вот оно и пришло, на второй день.

Я стояла и очень ясно видела обе стороны. Не записать — начать с обмана, с первой же строки, и если Дан это найдёт, а он найдёт, всё кончится в среду. Записать — и завтра эта женщина будет стоять посреди площади голая, и ко мне после неё не придёт ни одна.

— Я запишу, — сказала я.

Она дёрнулась к двери.

— Дослушайте. Я запишу так: сбор на сон, полфунта, два медяка, продано женщине из посада. Без имени.

— Так можно?

— Не знаю, — честно сказала я. — Но товар записан, цена записана, деньги в книге сойдутся. Если мастер Хольт решит, что этого мало, спорить я с ним буду сама.

Лея посмотрела на меня ещё раз, теперь по-другому, и вышла в темноту.

Я заперла дверь, вернулась к прилавку, открыла книгу и записала.

Первая строка моей второй жизни в ремесле: сбор травяной, на сон, полфунта. Два медяка.

Я долго смотрела на эти два медяка на столе.

Двести марок к сроку. В марке сто медяков. Двадцать тысяч медяков за одиннадцать недель.

Я убрала их в ступку, потому что больше было некуда, и легла спать в лавке, на лежанке, не заплатив Марте за третий день.

Утром я пошла за сырьём.

Это надо было сделать ещё вчера. У меня не было ничего: ни корня, ни коры, ни жира на притирания, ни спирта на вытяжки, ни даже холста на мешочки. Через десять дней ко мне придёт Лея, и я хотела встретить её не с пустыми руками.

Список я составила короткий, из самого ходового, — того, что нужно любой лавке в любом городке: от ломоты, от простуды, от желудка, на раны. Восемь позиций. По столичным ценам всё это стоило марок шесть.

Первым в списке значился сальный жир, основа под притирания. Его берут у мясника.

Мясник Ольхового Брода звался Верес и стоял на площади под навесом с самого утра. Я подошла, поздоровалась и назвала, чего мне надо и сколько.

Он выслушал очень внимательно.

— Нету, — сказал он.

Под навесом висело полтуши.

— У вас на крюке висит.

— Это заказано.

— Всё?

— Всё, — согласился Верес и отвернулся к колоде.

Я постояла и пошла дальше.

Спирт брали у Марты — у неё стоял куб, и она гнала на весь городок. Марта выслушала меня, вытирая руки о передник, и вздохнула так, что стало ясно, что вздох она приготовила заранее.

— Не могу, милая.

— Почему?

— Куб цеховой. Мне за него отчитываться. — Она отвела глаза. — Ты у меня в постояльцах, это одно дело. А товар отпускать — это другое.

— Марта, спирт вы отпускаете кузнецу и, судя по вчерашнему ужину, отпускаете сплавщикам.

— Кузнец у нас двадцать лет.

Холст — у лавочника на площади. Тот даже слушать не стал, сказал, что весь холст ушёл под сплав, на мешки. Кора и корень — у Кряжа, который держал сушильню, и к Кряжу я после ночного визита его жены идти не могла, но пошла, потому что выбора не было. Кряж посмотрел на меня, посмотрел мимо и сказал уже знакомое: смотря кому.

— Назовите цену, — сказала я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.